

# ФАРФОРОВЫЕ ЗАТЕИ

## РАССКАЗ

Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой

*Она крошечная, смуглая, иссушённая, словно обжиг прошла. Седая косица, заплетённая сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.*

### 1

#### **Просто жизнь**

– ...Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит... Нет, не верит никому... Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка... Настрадалась от добрых людей...

Что это за свёртки ты вытаскиваешь, какого чёрта? У меня всё есть, я сама тебя сейчас накормлю... Ну, не хочешь, сиди голодной... Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет – это уже не возраст, это эпоха...

...Пойдём, сядем на диван... он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упросила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но всё ж поехал.

Заходим, видим – стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний».

А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно, чтоб раскладывался? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берём!»

...Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да... И что – весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится всё это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь... Вон, любая старуха тут, на лавочке, – она тебе интереснее расскажет... Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя, вот знаешь что – этому президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моём сне спас Гулю от наводнения... Серьёзно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остаётся за бортом. И знаешь, мы плывём, а Гуля – за лодкой, и лает, и стонет... У меня просто сердце рывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной – элегантный, худой, – аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да, – и забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну скажи – как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит – ведь ему вряд ли дадут сделать что-то хорошее. Потому что он не может окружить себя теми, кто умеет что-то делать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? – Парни с его двора, говнюки какие-нибудь... Ты как относишься к плохим словам?

– К матерным?

– Ну да.

– Хорошо отношусь. Это же определённая эмоциональная краска в разговоре, иногда вещь необходимая.

– А я могу и без них вытерпливать. Немного, но могу.

– ...и Раневская ваша, вот тоже...

– ...да, доктор Бакулев знаменитый однажды был приглашён к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил её очень... Мы с ней сделали обед, такой – приличный, но не шикарный – шикарный он не позволял... Пришёл, говорит: «На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

– «Александр Николаевич, не сру!»

– «Сейчас посмотрим».

– «Что – посмотрим?!»

– Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопку... Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы – легенда, так сказать, российского фарфора – дали на неё согласие... Я вот, знаете, долго не могла придумать – с чего разговор начать... А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые я с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала...

– ...А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый, семьдесят лет – это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и – никуда от неё не деться...

– Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

– Чего ты не можешь, дура! Тебе обязательно надо вот это самое – «родилась я в городе Тамбове...»? А кстати, родилась-то я – знаешь, где? В Пензе... Дед был – миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе... После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?» ... Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

А в Пензе... там был большой дом?

Ну, был домик кой-какой... Наша семья занимала весь верхний этаж... А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти... Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, неродной, сын моей тётки Полюси... Родился, значит, Оська... И к нему шли с поздравлениями. Тётя Полюся стояла такая величавая, она у нас дородная была, в отличие от Саши...

– А... Саша?

– Саша – это моя мать. Я её всю жизнь называла – «Саша». Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

– Как это – свистела?

– погоди, не плунтайся под ногами... Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!» ... Я – про что? ... Да: так тётя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева... в разные стороны так разбегалась... И она стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках... Ему все несли какие-то приношения. А я – мне три года исполнилось – сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо про себя говорила: «А мне – ничего»... И всё думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо... Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальню... тяжёлый, сволочь!

– Это вы – чтоб брата зарубить?

– Ну, само собой... Да, тащу топор... А наверху меня уже нянька моя Настя поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты тащишь ночью топор?» Я говорю: «Оську убить. Помогите мне, я не могу, он тяжёлый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать... Грех это... Ежли родился, пускай живёт...

– И вы смирились?

– Не сразу. Приходили всё новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Эдакий светский парижанин: я его помню не то в смокинге, не то во фраке... Кудрявый.

– Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?

И я ему раскрыла сердце.

– Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська – это же кусок мяса, а ты – шикарная женщина!.. А я тебе привёз гостинец!» Открыл коробку – и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отравы, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешёвая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дорожке её у меня не было. И на этом кончились мои страдания... Я ведь вообще – в раю жила. Огромный двор у нас был – рай настоящий... Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, тёплое, оно так ни-изенько висело... и я подошла и вот так подставила руку, и оно, опущённое какой-то нежной пыльцой, такое... под-линное... оно село мне в руку, улеглось... понимаешь? – не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь... Я ощутила это как чудо: оно недавно было – цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. Это было такое мощное восторженное ощущение жизни...

И пошла с этим яблоком в кухню – показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шёл всеобщий любимец селезень Васька... Шёл себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепелённая шейка, глаз такой весёлый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шёл в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлеба каждый день. Все его любили. Получив гонорар, отправлялся к своим... Я увидела, что Васька идёт в кухню, подумала, не буду ему мешать, обожду здесь... И села в траву... А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущённо и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй», – и что-то бросила мне в руки, холодное, мокрое. Я вышла на улицу, где было светло, – разглядеть... Это была Васина головка. Ладонь омочилась его кровью, белая плёнка закрыла глазки... Я даже не плакала, я онемела. Не-

сколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неопи-  
суемой красоты... я не могу тебе даже объяснить – что это для меня было...

*пауза*

– Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко... а что, революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал...  
Ваша семья...

– У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алушке, в частном пансионе – у Саши были слабые легкие.

Хозяином этого пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми гла-  
зами, с красной разбойной бородой... У него была охранный грамота, потому что  
на каком-то процессе, где приговорили Фрунзе к смертной казни, он того отбил.

– Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?

– Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на  
операционном столе...

Ну, и отец повёз меня на поезде в Алушку, к Саше. Тащились несколько недель,  
время-то было опасное, глумливое... Однажды посреди степи на поезд напала  
банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи здесь есть?  
Выходи!» Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец  
спрашивает: «Вы куда нас ведёте?» – «Сам знаешь – куда!» Тогда отец вынул золотой  
портсигар и сказал: «А вот не пригодится ли вам эта вещичка? Смотрите, какие  
драконы на ней великолепные, какая тонкая работа...» Тот взял, повертел в руках,  
открыл портсигар, почти полный благоуханных отцовских папирос, буркнул: «Ладно,  
проваливайте, пока не смотрю!..»

И мы с отцом бросились бежать... А ту, другую семью, голь перекатную, понятно  
– куда повели...

И вот, не помню уж, как, – добрались до Алушки, разыскали пансион, где жила  
Саша, прошли через огромный парк роскошный, вошли в дом, нам горничная  
показала её комнату... Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела...

– Что-что?! Погодите, я н-не совсем...

– Мне было шесть лет... И мне показалось, что передо мной божество: Саша,  
в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы,  
в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной её стояла синяя стена. Я  
никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла – что это. И только когда по  
синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела...

Я робко к Саше приблизилась... Добирались-то мы несколько недель, не утруж-  
дая себя мытьём в поездах, да еще после того налёта спали где попало, скитались  
по сёлам, добирались на попутных шарабанах... можно вообразить – во что пре-  
вратилась моя, и без того всклокоченная, голова. Саша подошла поближе, потянула  
носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела меня мыться...

И всё это уже было счастьем... Дивный парк... Море...

– В те годы там жилали многие замечательные люди?..

– Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу.  
Вот так и в эти годы – с семнадцатого по двадцать пятый – многие интеллигенты  
скопились в Крыму – в Коктебеле, в пансионатах в Алушке, Мисхоре... были там и  
Аверченко, и Тэффи, Волошин... всех не перечтёшь – очень благородная публика.  
Я при них там крутилась... И ещё были дети...

Мы учились там, знаешь?. Например, рисовать нас учила художница Хотяин-  
цева... Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным.  
Для нас всё это был пустой звук, мы были маленькие невежды.

Да, Хотяинцева. Она поставила вазу на лавку, и в ней три цветка – незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны...

«Где ты их увидела?» – спросила меня Хотяинцева.

«А мне так хочется!»

Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».

– Угадала...

– Да, вот такие люди... Поэтому-то и говорю таким языком – их языком... А Саша свистела... Она божественно свистела!

– Да что это значит, наконец?!

– Пока Саша была в Италии, кто-то научил её свистеть не открывая рта. Она божественно свистела! Казалось, что звуки льются прямо из души.

Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» – «Ну так что, лучше умереть грамотной, чем невежей!» ... Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор – специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземую, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья... А однажды мы дошли и – услышали тишину. Только занавеска под ветром безмолвно вырывалась из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, всё надеялись... Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...»

– Сколько же километров вы отмахивали?

– До Мисхора не так много... Каждый день в оба конца... Саша делала всё, чтобы занять меня, отвлечь от еды.

– А было голодное время?

– Совсем голодное... Опухшие трупы на улицах.

Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?» – «Как это – «мимо»? – удивилась она. – «Ну, вот я расту себе, пью, гуляю... а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»

И как раз в этот вечер... это ощущение опустошённости – как влетала и вылетала из окна лёгкая тюлевая занавеска. И ни единого звука... «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.

– Сколько вы пробыли в Крыму?

– В двадцать первом году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сперва в Алупке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра... Потом приехал её муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву... двадцать четыре дня.

– В Москву – двадцать четыре дня?!

– Двадцать четыре дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался безо всякой причины, то вдруг, безо всякой причины, мчался...

– А когда нападали на поезд, что отнимали – деньги?

– Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошёл совсем молодой, хо-рошенький такой... У него вот тут, на руке, висели сумки... Навёл на меня дрожащий пистолет... кажется, он сам его боялся... сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!» ...Повращал глазами и ушёл. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?..

– Ну а когда добрались в Москву?

– Вон, видишь, на книжном шкафу скульптура? Моя бабушка... Вот такая она сидела: величавая красавица, рыжая, с рыжим котом на руках, у ног чёрный пудель, а на нём верхом сидел маленький королёк-петушок. У него там было гнездо, на

пуделе. Это – первое мое впечатление в Москве... Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.

– А где вы там жили?

– Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился... В глубине двора – фруктовый сад, заборы все порушены... но сам Елоховский не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение... особенно в страстной четверг.

– Вас крестили?

– Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется... И пусть будет что будет... Пусть нас вышлют»... Но никто нас больше не тронул.

– В какой школе вы учились?

– Это была девятая школа имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?

И праздники отмечали как-то смешно. Например, помню Женский праздник. Зал был набит такими интеллигентными благоухающими дамами.

– Это была женская школа?

– Нет, нет. Просто мамы пришли на спектакль, который давался в их честь... И вот, только представь себе: бывшая Медведниковская гимназия, очень добротное выстроенное прекрасное здание в стиле «модерн»... Внутри зал огромный... И я на сцене этого зала: беленькие в резиночку чулочки, лаковые туфельки, чёрное бархатное платье... И писклявым омерзительным голосом я выкрикнула: «Довольно обжигаться у горшков и мужу отдавать поклон! Сегодня делегатка я от всего рабочего района!» Дальше я забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале... И меня как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась.

– Это было завершение вашей артистической карьеры?

– Нет, зачем же... Я ещё в нескольких спектаклях с неменьшим успехом участвовала. Но главное таинство Посвящённых, помню: вступление в пионеры... Экзамены проводили не на шутку, задавали такие страшные вопросы, с идеологическим подвохом... Дошла очередь до меня. Я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убеждённые были люди. По-моему, всех троих потом расстреляли. – «Скажи, Горштейн... (это моя девичья фамилия), когда было Боксёрское восстание в Китае? Знаешь?»

«Никогда в жизни!» Мне было одиннадцать лет.

«Ладно, дам тебе вопрос полегче», – говорит Яша Кронос. – «Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем лёгкий вопрос»... Совсем лёгкий! Да только я такая незадачливая...

«А что ж ты знаешь?»

Я сказала, что знаю всё про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка: Шарлотта, убивающая Марата. Ну, я им всё рассказала: какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми. Пытался погубить Французскую революцию, Францию... Очень пылко рассказывала про Шарлотту, как она жизнь свою отдала, чтоб убить тирана!

Они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год.

Когда я дома рассказала про всё это Саше, она сказала: «Так тебе и надо, охота была тебе вступать в эту сволочь!»

Но дома я отстаивала репутацию своих друзей. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы очень дружили, часто гуляли по Новодевичьему... Никаким заповедным в те годы оно не было. Так, просто кладбище по соседству.

Много чего смешного было – например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит – морда, как полено, говорит по телефону. Интересно – с кем это он говорит?

Мы с Саней сбегали с уроков, гуляли, всё строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы... Его, само собой, посадили в своё время... Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе «Давным-давно», Саня гнил на лесозаготовках. Потом, когда его реабилитировали, я как-то столкнулась с ним в коридорах Министерства культуры. Он выглядел снятым с креста... Очень скоро умер...

*пауза*

– Евгения Леонидовна, а когда вы почувствовали, что вы – художник?

– Ну, ты как-то торжественно это... Сейчас, я задумаюсь... Да не было у меня никакого такого чувства. Не было... Сперва лепила на пляже из чёрной глины, потом из пластилина. Все удивлялись, как это у меня хорошо получаются всякие золушки. Потом в руки попался альбом рисунков Сомова... Румяные эти красавицы, эта жеманность. Я была от него в полном упоении... Но так, чтоб почувствовала, мол, «нет пути иного» – дудки! А вот потом, когда появился Менделевич...

– Который скульптор?

– Вот. Понимаешь, Саша не любила моего отца. У неё был роман со скульптором Менделевичем. Но она почему-то считала себя обязанной жить в семье, со мною. Однажды был у них какой-то истеричный разговор с отцом, Саша заперлась в своей комнате и плакала там навзрыд. Я постучала, вошла к ней – мне было лет двенадцать – и стала уговаривать её уйти из дома.

«Саша, – говорила я, – не мучайся ты ради меня, уходи... Ну подумай: пройдёт ещё несколько лет, и какой-нибудь прохвост или негодяй станет мне дороже жизни...»

Она проволынила ещё год и ушла к Менделевичу... И все разом повеселели...

– Так вы стали учиться у отчима?

– Ну, не совсем «учиться»... скорее просто околачивалась у него в мастерской. Ты знаешь, что он учился во Франции, у Карла Росси? Это как получилось: он на весеннем вернисаже выставил мраморную головку «Смеющаяся девушка», прелестная была работа. И она приглянулась богачу Гиршману – помнишь, Серов писал портрет его жены с палантином? Гиршман. Так он буквально влюбился в эту головку (она была с четверть натуры, мраморная)... И говорит: «Если принесёшь мне её домой, пешком, я тебя на два года отправлю во Францию учиться».

– Изверг какой...

– Да-да, Гиршман, богач, филантроп. Ну, Исаак Абрамович взвалил её на плечи прямо с вернисажа, да и поволок...

– Сколько же она весила?

– Не знаю. Наверное, много. Мрамор же. Мрамор, не что-нибудь, не вынутый, ничего. Да и на подставке...

– Сколько же он так шёл, бедный?

– Не помню. Гиршман жил на Поварской. А где проходил вернисаж – не знаю. Сам Исаак Абрамович в то время снимал студию в Гранатном переулке. Недалеко от дома, в котором потом Берия жил. Этот дом Голицын строил для своей возлюбленной цыганки Шурочки Христофоровой, с которой дружила Саша.

– В каких же годах это было?

– Спроси что полегче...

– Спрашиваю: значит, вы стали ходить в мастерскую к Менделевичу, и?..

– Ну, да... просто сидела, смотрела... Он делал какую-то вещь, деталь самолёта или группу «Три лётчика», и однажды сказал: «Ну, скопируй что-нибудь из того, что можешь». Видно, как-то понял, что я что-то могу. Так я стала помогать ему на подхвате. Однажды он лепил Громова, лётчика. Тот приходил позировать после Чкалова – так это были день и ночь. Громов – денди, со стеклом ходил. А Чкалов был обаяшка, очень простой, очень свойский... Ты знаешь, что он после перелёта, из Америки возвращался на пароходе? И какая-то знаменитая актриса на палубе ему сказала: «Если б я знала, что вы поплывёте на этом пароходе, я бы сдала билет, вы испортили мне всю рекламу!» Понимаешь, на эту дурынду никто уже не смотрел. Все хотели потрогать живого Чкалова... А он позировал Исааку Абрамовичу... Ну, и Громов позировал. Я на одном сеансе слепила его фигурку как-то вот, за час. Бывает так, нашло какое-то вдохновение... Головочка вот такая вот, манюсенькая... Но такого сходства никто не мог потом передать. Исаак Абрамович подошёл, посмотрел и сказал: «Мала голова», – и размял. Сердце у меня развернулось на другую сторону...

– ...и не простили вы ему?

– ...дело не в этом. Я в то время вольнослушательницей ходила в такой... техникум художественный, в Леонтьевском переулке... Опоздала к экзаменам, студенты уже были набраны... Болталась я неприкаянная, кислая, и – горевала... И Валерий Павлович, Чкалов, говорит: «Погоди, я сейчас всё устрою. Как этому вашему Грабарю звонить?» Тут же набирает номер: «С вами говорит Чкалов Валерий Павлович, у меня к вам большая просьба: есть очень талантливый молодой художник-скульптор, примите её на испытательный срок. Если она вам не покажется, вы её прогоните, я не буду в претензии, а если покажется и будет работать, я вам век буду обязан...»

– Да уж... свойский человек...

– Свойский! Так что я Валерию Павловичу всецело обязана.

– И вы стали там учиться...

– ...и это, доложу тебе, непростое было дело. Я ведь отчимом была обучена. А он как: сперва клал кучу глины, потом выкручивал оттуда носик, глазки, ротик и прочее... И когда я стала этот способ при всём классе воспроизводить, все на меня смотрели, как на монстра. Потому что скульптура строится с основания каркаса, с построения головы.

– Ну, а Менделевич?

– ...носик, это, брат, дело последнее, а не первое. Если с носиков начинать – ничего не выйдет.

– Но ведь у Менделевича выходило?

– Когда как... Профессора по скульптуре у нас менялись часто, пока не пришел, наконец, Александр Терентьевич, Матвеев. Ну, я у него, по-моему, вызывала только отвращение.

– Почему?

– Плохо я работала, очень плохо. Когда он, бывало, ходит по классу и встанет, так, за твоей спиной... ты как бы начинаешь видеть скульптуру его глазами, и видишь всё, что ты напортачила. И это было ужасно... Стала я нанимать модель и вечерами лепить в мастерской... Девочку одну нанимала. Девочке было лет семь, я ей платила рубль за сеанс, она была довольна. Только очень мучилась неподвижностью, всё время приговаривала тоненько: «Побегать-побегать-побегать-побегать...», – и ногами сучила...

И однажды вдруг слышу за спиной знакомый стук палочки. Обернулась: стоит Александр Терентьевич, смотрит... Говорит: «Я думал, всё обстоит гораздо хуже». Большой похвалы я никогда в жизни от него не слышала. Счастлива была безумно!

– А вы ведь уже были вполне взрослым человеком.

– О чём ты говоришь! Я замужем давно была. Муж мой, Боба, поляк, он был чёрный график – знаешь, что это такое? Это когда автор пишет научную книжку с чертежами, и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник, график, по его наброскам делает отличные чертежи для книги... Боба страшно был добрый, мы жили в коммуналке, с соседями, так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал – на конфеты, на мороженое. На аборт... Ну, позже, разумеется... Но страшный был игрок! Такая моя пожизненная беда, что поделаешь... Играл ночами... Однажды я прождала его всю ночь, а он пришёл под утро. Я была страшно разъярена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо – подлинный Фёдор Толстой. Выиграл. Ну что ты ему скажешь. Во-он оно, висит над тахтой... Он потом мне шали выигрывал, длинное серое платье из ангорской шерсти... И главное, все эти выигрыши-проигрыши они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой картёжницей. Но Феня играла в дворницкой, а Боба – в высших сферах.

– А у вас, вы говорили, тоже домработница была...

– Так это Сура наша, Сара Яковлевна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле впечатление было, что я у неё домработница.

Женщина настоящей судьбы, соответствующей веку. В юности муж её бросился в партию, она – в комсомол. Его в положенное время расстреляли, а её на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: «Если он враг, то кто же вы тогда?» Её вывели прямо из зала. Десять лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела одиннадцать лет, говорила: «Меня спасло то, что я месила тесто. А так я бы сдохла». Знаешь, огромные плечи... Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила, такие словечки выговаривала, – к нам гости, бывало, придут, и каждый старается с Сурой Яковлевной разговаривать. А потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве...

У меня была птица знакомая, одноногая голубь. Она прилетала ко мне на свидания, я её кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Так Сура говорила: «Прилетала ваша голуб. Она так кричала, так кричала, даже войла!»

– Евгения Леонидовна, а ведь время было какое... людоедское... Как вам в те годы жилось-то?

– А знаешь... Да, людоедское... Оно, конечно, так... Вот, говорят, мы все в страхе жили... Но... как бы это тебе объяснить некрамольно, по-человечески... Мы весело жили. Мы были молоды, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны – «Националь», «Континенталь»... Танцевали...

– Что танцевали?

– Бостон, танго, чарльстон... Домой возвращались часам к пяти утра... И если видели перед подъездом чёрную машину, то прощались друг с другом...

А летом... Как ехали в Рыльск? Поездом до Курска, потом пересеть, потом нанять лошадку худенькую и сорок километров лошадкой. Поселиться у пани Ващук, самогонщицы... Меня она называла «пани млода Ракицка». В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга... потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды – груши познания. А главное событие было – приезд театра из Курска. Пани Ващук надела лучшее платье, на бретельках, надела «брильянты» – вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками... Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг – все ли видят, что рядом с ней сидят друзья «с Москвы»?

Что это был за театр! Ничего смешнее этого я в жизни не видела. Пьеса называлась «Платок и сердце» – из крепостной жизни. Главный герой-любовник во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера. Мы старались не смеяться, нас бы растерзали. Это было грандиозное событие – в городе, где последней сенсацией было убийство царевича Димитрия...

– Евгения Леонидовна, ну а когда всё началось-то, ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая?!

– Ну, ты сразу: знаменитая! Погоди... Моё дело, говоришь... С чего началось Дулёво? Это все опять Александр Терентьевич... Он нам дал задание – это было под конец войны – сделать дома эскиз, композицию на вольную тему, и принести ему на показ. И все несли, кто что: кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползёт, кто выполз, кто недополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех, – поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных пораскидала и заявляет: «Это эскиз памятника павшим женщинам». Хохот поднялся немыслимый... Она: «Чего вы смеётесь?» Матвеев ей: «Памятник павшим!» – «Ну, я же и сказала: павшим!» Потом я развернула свою работу, от этого хохот уже стал просто гомерическим. У меня шёл медведь и нёс на руках Татьяну, которая упала в обморок.

– «И снится чудный сон Татьяне»... Известная ваша композиция...

– ...Я людей лепила тогда отвратительно. Медведей – ни разу. Так что была чудесная группа. А Матвеев так задумчиво смотрел-смотрел... и вдруг говорит: «Но это же совершенно фарфоровые затеи!»

– Так и сказал – «затеи»?

– Да, говорит: «Совершенно фарфоровые затеи... Вы попроситесь на практику в Дулёво». Я говорю: «Ну кто меня примет?» А он: «Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите, у вас всё получи...»

## 2

### **Дулёво**

– Ну, вот, здравствуй... Это ты молодец: сказала в десять, явилась в два. Молчи, я понимаю, дела и мишура, жизнь, любовь, измена, месть... А мы с Гуленькой тебя очень ждём. Гуленька, ну, где ж ты, покажись, тётка же приличная оказалась, хвосты порядочным людям не поджигает... нет! Вот непреклонная душа... Диван, оно надёжнее...

Среди всех моих зверей – а ты можешь представить себе эту армию? – Гуленька самая кроткая, самая деликатная... А самым благородным был Зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи у нас во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчика вынесет прокисшего, а кто и вовсе о нём забудет. В общем, пес безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну – как столб.

– Так он такса был?

– Он был никто. Просто длинная собака... Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая чёрная голова и белая маечка. И наступила зима... никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый. Погреться у батарейки зимой, двадцать три градуса мороза... А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна, спустилась прямо в халате вниз, говорю: «Пойдём жить ко мне». И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам, я налила ему

супца с мясом, сложила вдвое ваточное одеяло... Он набросился на еду, лёг и проспал двадцать два часа. Потому что очень настрадался. Потому что понял, что никто не пнёт, не ударит... Кротости неземной... А кто из гостей его Зятем назвал, не помню. Лицо у него было – ну, «морда» же не скажешь – мудрейшее, глаза, как на портретах голландских мастеров... Такой великолепный был пёс. Хромой... Судьба их ко мне приводит...

...Ну, давай уж сразу чай пить, а то ты в прошлый раз меня провела: некогда-некогда, да и хвостом вильнула...

– Просто плёнка кончилась... а другой не запаслась...

– Сегодня запаслась? Идём на кухню...

– Только я сама всё буду делать, ладно?

– Давай, чёрт с тобой. Я здесь в любимый угол законопачусь... и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько... Умеешь? Чашки на второй полке, слева... Там же хлеб. А сыр в холодильнике, в дверце... Там трёх сортов от трёх гостей... Только мне завари крепкий, чифирь...

– ...а сердце?

– а плевать... Ну, пошла проводки разматывать... Розетка позади тебя... Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот то-то...

– Евгения Леонидовна... Мы в прошлый раз остановились...

– Слушай, а может – ну её к лешему, эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных... Лучше ты вот расскажи...

– Евгения Леонидовна!!!

– Ну, хорошо, хорошо... сразу и гром и молния... А мы про что говорили в тот раз?

– Про Дулёво... Как все начиналось...

– Как начиналось... я про Александра Терентьича Матвеева рассказывала? Как он мне письмо написал, рекомендательное, в Дулёво... Ну вот... А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд, шестичасный, – пешачком иди с площади Восстания на Курский вокзал. Пришла. Села, сию на скамье... А рядом стоит... Ну, это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женщина, вот такая, как я сейчас. Кроха в митенках. Ну и поскольку нас двое оказалось в такую рань, разговорились. Я спрашиваю: «А вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться?» – «Это я не знаю. Я поеду до Орехова... Я хожу по поездкам, пою». Я не сразу поняла, что это её заработок. Что, спрашиваю, поёте? – «Ну, то, что знаю, что смолоду пела. Хотите, я вам спою?» – «Да я ж тут одна, что с меня взять». – «Всё-таки я вам спою...»

Забыла этот романс... «Она была мечтой поэта...»... Нет, не помню... но сидела, слезами умывалась. Она говорит: «Хотите, я вам ещё что-нибудь спою?» – «Нет, я не хочу вся зарёванная приехать в это треклятое Дулёво!» Она еще постояла, потом ушла...

– Но вообще-то песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые...

– Одна была просто гениальная! «Соловушка где-то в саду-у-у-...» Нет, он сперва входил – в чёрных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой, – и громким уверенным голосом говорил: «Братья, сёстры, я вас не виззжу, я не виззжу бозжжий свет, но я вам спою!» И вот он пел: «Соловушка где-то в саду-у-у, в гуще душистой сире-е-ени песенку пел о любви-и-и, клялся любить без изме-е-ены. Я ли тебя не люби-и-и-л, я ль на тебя не моли-и-и-лся, след твоих ног цалова-а-а-л, чуть на тебе не жени-и-и-лся!»

– Жуть как трогательно...

– А дальше так: «Я пред тобой провини-и-и-лся, ты торопливо ушла, так я и не извини-и-и-лся. Зачем же так горько страда-а-а-ть, зачем так безумно влюбля-а-а-ться? Любовь не умеет проща-а-а-ть, любовь не умеет смея-а-а-ться!»

– Потрясающая песня!

– Я говорю: «Вы сами её сочинили?»

«Да нет. Её все поют. Городской романс».

«Спойте ещё раз, я вам дам три рубля. И запишу слова». Три рубля тогда были как сейчас триста. А он мне: «За три рубля я вам сам слова напишу!» Снял чёрные очки, глазки острые такие оказались – видел, конечно, не хуже нас. Достал вот такой огрызок карандаша. Послуживил и записал слова. Ну как я могла тогда, дура набитая, не оставить этот документ! В нём было девятнадцать с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня!

Так вот, под всякую эту музыку три часа надо было ехать на поезде до 85-го километра. Там, как тогда говорили, «вылазить» надо и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком семь с половиной километров до сухой дощечки-указателя: «Дулёво». И всё маленькими деревнями... Всё кругом интересно... всё мне нравилось... Так, значит, «Дулёво» вот сюда, а напротив – «Ликино»... Не помню, у какого писателя, кажется, у Чапека, непрерывная война саламандр... Так у них тоже было, у Дулёва с Ликиным. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось всё с футбольного матча. А Ликино – это же бывшая морозовская мануфактура. Ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с дулёвско-фарфорской стороны, выходили гончары-керамисты, здоровенные бугаи. Ну, сходились на этом поле, жаждали драки. Всем неважно было, чем кончался матч, им бы только дождаться, чтоб он скорее кончился, чтоб броситься друг на друга.

И вот тогда я поняла, что это такое – настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побеждённых мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. «Матч» этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще-то смешно. Но в первый раз я была потрясена эпической картиной: как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали, и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтоб друг друга слышать. А привыкли так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса...

– Евгения Леонидовна, расскажите про первый свой день в Дулёво...

– Ну, вот я тебе и рассказываю... пришла, значит... Попала в перерыв. Было начало первого. А перерыв кончится в два. На проходной мне сказали – вы посидите, подождите... Рядом был такой скверик. Тополя, каких больше нигде на свете нет. Это я ответственно тебе говорю. Выше пятиэтажного дома. Просто уходили в небо. Стволы толстые-претолстые. Шелест у них нежный такой...

– Серебристые тополя?

– Серебристые, да... И где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник, который в это время играл серебристого Мендельсона. А на земле кругом, как посмотришь – такая яркая, особенная серебристо-зелёная мурава... Я сидела, млела и думала: господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают! А тут еще, откуда ни возьмись, явилось шестеро белых гусей. Невиданной величины гуси, ну как диван. Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг... Ко мне подошли: ты кто такая? Словом, я была ослеплена Дулёвым еще до того, как переступила порог проходной.

– А потом?

– ...потом разговор с директором. Захолустный такой, добрый человек. Прочитал записку Матвеева, сказал: «Ну ладно, попробуй, может, у тебя что-нибудь получится. Ты что хочешь?» Я показала... вон, видишь, на полке стоят эти большие чайники? – что я хочу такой вот чайник расписать. У него в кабинете заготовки рядком стояли. «Ну это тебе не справиться». – «А я попробую. Мне покажут...» ...И прямо в этот же день я его расписала, чайник. Вот он там стоит, синий, с розовыми цветами...

– Значит, ему сколько лет? В каком году эта первая поездка в Дулёво?

– Вот как начинается, в каком году, – тут швах дело...

– Приблизительно – сороковые, пятидесятые?

– Да, конечно, сороковой с гаком, почти пятидесятый. Мне объяснили, что его надо задуть, потом прочистить... но тут уж рассказывать тебе технологию, это до вечера, бог с ней совсем.

– Кого задуть? Печку?

– Тёмная ты баба... Для того чтоб получить синий чайник, его надо задуть из пульверизатора синей краской. А потом надо же на нём рисовать: сначала чистить места, где будет рисунок. Значит, ты расчищаешь так, чтоб не повредить это дутьё, расчищаешь места, где ты думаешь рисовать и что думаешь рисовать. Потом пишешь всё это красками... Потом ставишь в огонь... Потом не живёшь на свете: не порвёт ли его, и как он выйдет? Вышел он хорошо. Все меня одобрили. Тут как раз приехал главный художник Дулёва, мужичок такой круглый, лысый, абсолютно беззубый, ну ни единого, представляешь, зуба! Причём дикция превосходная у него была.

– А как же он без зубов говорил?

– Пёс его знает – говорил. Много, долго, да так торжественно. Причём уверенный, что приехала тёмная баба в Дулёво из Москвы. Он посмотрел на чайник и сказал: «Беру эту женщину на завод. Только вы бросьте институт». Я спросила – почему? – «Он лишит вас непосредственности». Я сказала: пускай лишает. Если бы Пушкин не знал букв, он бы «Евгения Онегина» не смог бы записать. Так и я. Я выучусь там грамоте, это вам не помешает... Словом, приняли меня на завод.

– Трудно было сперва?

– А ты как думала... Подселили меня, – вернее, сама я прикипела к нему – к старому мастеру Маслову... Там как жили? Это были ещё старинной постройки, кузнецовской дома, двухэтажные, сложенные из брёвен, на каждом этаже две квартиры по три комнаты. Вот он, Маслов-то, старик, меня к себе и взял. Мы очень быстро подружились. Недели через три как-то ночью он стучит ко мне в комнату: «Женюра, вставай! Вставай, скорее!» А я смотрю на ходики – четвёртый час утра.

– Он вас Женюрой называл?

– Женюрой... Меня там все звали Женюрой... сначала... Потом, через годы – Евгения Леонидовна... Потом, в конце, просто – Леонидовна...

– Так говорит, вставай? Чего – вставай?

– Вот и я: «Чего вставать-то?!» – «Вставай, вставай, там узнаешь – чего. Одевай, хоть чего ни то накинь, побежим...» Я босиком, в рубашке, как была, выскочила. Идём прямо в сад. У него маленький фруктовый сад. И там... не знаю, как тебе изобразить... Пели соловьи! Он повёл слушать соловьиный хор! Это было упоение! В каждом маленьком садике – вот как две комнаты моих величиной – сидели и пели соловьи! И все, кто соображал, выходили их слушать... И так возвеличился он в моих глазах, Маслов этот... Потом он сказал: «Ты слушай только меня. Знаешь, старики какие зловредные. Они подсказывают новеньким такие приёмы, после которых у тех всё наперекосяк... А ты слушай меня. Я тебя под свою руку беру. Если тебе скажут, что ты поплюй сперва на стекло, потом помой его, – не слушай. Знай, что это уж гиблое стекло. Нельзя, чтоб слюни или вода попали на стекло, на котором расправляется живописная краска. Ну, тут масса мелочных секретов. Вот... В общем, стала я работать. И как все начинающие, была нахальной, самоуверенной. С чего начинает начинающий? С Петра Великого тихо-скромно.

– И вы с Петра начали?

– А как же... Когда через несколько лет я его случайно увидела на складе готовых изделий, я подумала: Господи, откуда была такая наглость? Я слепила балерину на тонких ножках с выпученными глазами. Ужас! Обожгла. И что он никому

не понравился, меня очень обидело. Мне казалось, что это очень талантливо. С годами это проходит, слава богу. Чем больше умеешь, тем меньше понимаешь...

– Евгения Леонидовна, а как вы пришли к своему театральному циклу? Как это было?

– Знаешь, у меня какое-то воображение приёмистое, я что увижу, мне сразу хочется это слепить. Смотри, вон, наверху – «Встреча любовная», видишь? У нас во дворе жила девочка Катя и совсем в другой семье – собака Смелый. Они жили в разных подъездах, но выходили гулять одновременно и бросались в объятия друг другу, как влюблённые. Он первым делом облизывал ей всё лицо. Она целовала его в нос. Я наблюдала это изо дня в день, и не могла не слепить... Такая это была невозможная искренняя любовь... А театр... не знаю, с чего я решила, что надо лепить театр... Саша моя очень любила театр. Особенно «Принцессу Турандот». Ну и втемяшилось мне – слепить Турандот.

А что это значит? Я отходила двадцать семь спектаклей! И ничего не могла придумать... Ступор какой-то. Верный признак – надо бросать затею к чёртовой матери... Потом как-то с одного спектакля пришла и всё нарисовала, как должно было быть. Ночью. А утром рано встала и сразу начала лепить. Причём жили-то мы в коммуналке, конечно. Кроме нас в ней жило еще сорок два человека. Один галюн, одна ванна.

– Я даже представить себе не могу.

– А ты вот представь... Просто жили так, и всё. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило...

– Евгения Леонидовна, а так называемая «оттепель», она каким-то образом вас затронула? В литературном мире это многое перевернуло. А вот в мире вашем, художественном, в фарфоровом мире, произошло что-то существенное?

– Наш «художественный» и наш «фарфоровый» – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех МОСХовских выставок, законов, споров, цеховых благ всяческих. И дрязг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться мы выставялись, конечно. Но были наособицу, самостоятельные, ни на что не претендовали... Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от МОСХа или ничего, этого никто не знал... А Турандот, в общем, я слепила, и получилось красиво.

– Ещё бы! Знаменитый ваш цикл, четыре работы... Я даже эскизы видела в каком-то журнале.

– И решили в МОСХе – уже когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую и я сама не ожидала, – решили подарить это театру от Союза художников. Уже я тут как бы и ни при чём. И вот начался очередной спектакль «Принцесса Турандот», пошёл занавес – на сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Ну, словом, мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя... Сперва ей специально саркофаг сделали, на колёсиках, в нем она паслась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Местечкин. Я, помню, спрашиваю его: «Почему на колёсиках? Это же слишком **покато**?..» А он мне, милый человек, отвечает: «Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли... Тут у нас, бывает, и гроб стоит». И умолк. Через десять дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе... Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековечной женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже первое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет: «Ну, что ж ты не идёшь?», – а он сидит за столом мёртвый.

А через десять дней после него умер мой муж...

*пауза*

– Вот как...

– Вот как... Ну... так это, значит, первая моя была театральная работа. Потом ещё были другие, многие, но гораздо слабее.

– Это вы себя судите строго как художник.

– А как еще я себя должна судить?

– А после «Турандот»?..

– А сразу после Чеховский музей заказал мне целых десять работ, на любую чеховскую тему, какую захочу. Ну, Чехова упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был такой человек сладостный. Почти слепой.

– Директор чего?

– Чеховского музея в Мелихово.

– Евгения Леонидовна, а вы знали Книппер-Чехову?

– Видела один раз живьем. А за глаза не любила всю жизнь.

– Почему?

– Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнущая сигарами и вином, развязная, весёлая, бесцеремонная. Сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его! Ну я, как могла, всё же свела с ней счеты, всё-таки постаралась.

– Каким же это образом?

– Я делала композицию «Вишнёвый сад», и там она такая... рыдает. Да, задание давали они жесточайшее. Вот, «Вишнёвый сад», будьте добры, сделать нам две большие группы многофигурные, но чтоб были точно те исполнители, которые были в Ялте на премьере, да с портретным сходством, и чтоб все детали костюмов и декораций были соблюдены. Ну где это мне было разыскать? А всё-таки удалось каким-то чудом.

– В архивах?

– Нет, просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии. Так Книппер... Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями...

– Она ведь Раневскую играла в «Вишнёвом саду»?

– И потом еще в «Трёх сестрах» я тоже, как могла, сделала ее не очень обворожительной.

– Жестокая месть художника... Я, знаете, о чём хотела вас спросить... Вот художник-живописец: пошёл, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал, что хотел...

– Вот именно: ура, всё кончено. А у нас всё только начинается...

– А с чего начинается?

– Во-первых, надо дурынду эту доставить на завод. Хорошо, когда уже появилась машина, ну, или такси... А так ведь это не просто. Она или глиняная, или пластилиновая. Это всё весит. Ну ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс – её режут на куски; потом ее обратно соберут, но пока что зрелище – груда кусков из того, над чем ты тряслась, как над младенцем. Потом её формовщики форматируют. Потом садятся автор с помощником и монтируют эти куски как было. Монтируют, зачищают. Вот отсюда, спасибо партии за это, – силикоз у меня. Да и у всех на заводе. Раз в году проверка: приезжает автобус с оборудованием, выстраивается очередь. Входишь в этот сумрак: повернись вправо, повер-

нись влево, повернись спиной. Силикоз. Следующий!.. Ну ладно. Потом, когда она уже зачищена, её надо окунуть в глазурь.

– Зачем?

– Чтоб блестела! Ведь это всё блестящие вещи. А бывает «бисквит», и ничем не политой, как мрамор он. Такую скульптуру делать проще, но она и хода не имеет. Значит, её надо полить. Полить – это как? А вот надо взять её, особенно если она большая, этак в две руки и погрузиться в чан, с половину этой комнаты величиной, по пояс. Вот так окунуться туда и медленно вынуть ее.

– Как?! А это же вес большой?

– Конечно, большой.

– А кто это делал?

– Я или, если я не могла поднять, – вдвоем с помощницей, или мужика звали какого.

– Вы же хрупкая женщина!

– Ну, какая хрупкая, Господь с тобой! Я была вынослива, как лошадь. Какая там хрупкость. Хрупкие не смогут этого... Вот уже она у тебя в руках, с неё стекает глазурь. Надо донышко подчистить, потом поставить её на ту часть, на которой она будет обжигаться. И она должна сохнуть. А если она искренне, так, сохнет в мастерской, это длительный процесс. А если её сушить искусственно – это риск.

– Лучше, чтоб сохла сама по себе?

– Конечно. Вот она высохла, слава богу, ура, ничего с ней не случилось. Теперь её надо отнести, аж через весь завод, в другие муфля, где её обожгут.

– Муфля – это цеха?

– Это обжиг. Муфельные печи. Сперва были только *горна*. Это прекрасно было. Были такие *конселя* с полстола величиной, из шамота. Туда ставилась работа, такой же капсюль накрывался. И выбиралась оттуда она примерно на третьи сутки. Лезешь туда – пятьдесят-шестьдесят градусов.

– Боже мой!

– В том-то и дело: Боже мой. Снимаешь эту коробку. И достаешь то, что вышло. Не дай бог тебе с этим вылезти на улицу или чтоб форточка открылась в этот миг. Ветерок налетит, работа простудится и треснет прямо у тебя в руках. Значит, её надо, как младенца, в ватник завернуть, и сидеть с ней, пока не почувствуешь, что её температура равна твоей. Тогда её можно нести в мастерскую, там спокойно рассмотреть, как она получилась. Получилась, слава богу. Но это еще не всё. Когда она поступает в печь, она попадает в температуру сорок – примерно сорок пять градусов. И медленно на вагонетке движется... Вагонетка чуть потряхивает. И это скульптуре тоже вредно. А другого выхода нет, по воздуху не полетит. Значит, идёт она так, потом сворачивает. И вот там, где ты сидишь, там кульминация – там температура тысяча четыреста градусов. А поступает она туда – в каком виде? – вот как если б ты её сделала из сливочного масла в жаркий день. И за эти несколько секунд она из жалкой мягкой глины превращается в фарфор! Но этого мига ты не знаешь! Тебе не дано, это тайна сокрытая, Божественная! Ты только узнаешь, когда работа выйдет оттуда, как Феникс из огня...

*пауза*

– А... потом? После этого?

– После этого идёшь в живописный цех с этой же цацой. Опять же, сколько она весит, столько весит. Все твоё.

– А сколько это может весить?

– Мало ли. Скульптурка может быть такая махонькая, а может быть «Ревизор» неподъёмный. Или «Ковёр-самолет». И вот уже там, в цеху, начинаешь расписывать... И тут тоже ни одного неверного движения невозможно допустить. Причём есть краски, которые не любят совмещения никакого... Проще всего покрыть поверхность и по ней расписывать. А те художники, которые искали на белом расписать так, чтоб было не хуже, – по-моему, настоящие подвижники. Был такой Медведь, восхитительный художник, и человек такой же. Очень хороший человек... Ну ладно...

У нас даже есть рабочая страшная поговорка – как обращаться с вещью при росписи: «Как вся жизнь», вот так и обращаться, понимаешь? Как вся жизнь... И вот она расписана уже! Красотища, глаз не оторвать! Айда обжигать! Если это маленькая вещь, она едет в вагонетке и обжигается себе, если это всерьёз – в печь ее круглую. Открывается дверца вот такой толстоты. Там два отсека. И не больше трёх вещей можно сразу обжечь. И ты начинаешь влиять хвостом перед этим пьяницей Салтыковым незнамо как...

– А что – Салтыков?

– Он горновщик, и всё в его руках. Он может усилить огонь, ослабить огонь. Раньше времени открыть, позже открыть.

– Испортить?

– В какой-то мере от него зависит. И это тоже надо пережить. Умолить, чтоб три часа не открывали... чтоб не трогали вещь. Но ведь если кому срочно надо, приходится открывать. Откроют и вынут.

– Это очень вредно?

– А рискованно, не просто вредно. Рискованно... Ну вот... И когда, наконец, ты её приняла на руки свои: расписную, красавицу... завернула в ватник, принесла в мастерскую, и там сидишь, высиживаешь, ждёшь нужной температуры... И вот раскрываешь! И вдруг – всё получилось!!! Это счастье... Как настоящая любовь...

*пауза*

Это и есть любовь... Потому что иногда думаешь: Господи, ну, где были мои глаза, вот это... Пётр Великий на тонких ножках! Он как живой передо мной. Глаза вытарашенные, дурак дураком.

– Евгения Леонидовна, а когда вы перестали ездить в Дулёво?

– В восемьдесят пятом. Официально уволилась с завода. Меня пригласил директор и сказал: «Евгения Леонидовна, мы должны уволить двух скульпторов. Нам на будущий год ставки сократили...» Мне этот суконный язык советских отчётных собраний, знаешь, ненавистен... Вот вызывает Всевышний к себе святого Петра и говорит ему: «Пётр Абрамыч, нам на будущий год две души сократили...» Да, и вот этот туда же: «Кого вы рекомендуете уволить?» Я тогда уже старейший скульптор была, лауреат, то-сё... меня на кривой козе объехать никакой возможности не было. Ну, кого из своих коллег, из товарищей-цеховиков я могу рекомендовать уволить? Говорю: «Увольняйте меня...» И он засуетился, обрадовался, что так всё полюбовно, без огорчений. Сказал: «Вам остаётся пропуск, квартира, право делать творческие работы на заказ... Всё остается, кроме зарплаты».

– А у вас квартира там была?

– Ну, какая там квартира, Господи! Полуподвал с железной койкой, из щелей деревянного пола выходили поздороваться крысы. Иногда кошка приносила полкрысы в подарок – делилась со мной. Мы с ней дружили...

– И вот там-то вы жили по несколько недель подряд?!

– А как же!.. Когда работа идёт... Тогда уже ничего, кроме неё, ты не замечаешь, ничего и никого, кроме нее, тебе и не нужно...

*пауза*

– Евгения Леонидовна, дорогая... Спасибо вам огромное! Думаю, материала для интервью достаточно. Дней за пять я это все обработаю... и... Ответьте, только уже «не для протокола»: вы никогда не жалели о выборе?

– Ты просто как мой дед. Он дожил до девяноста пяти, перед смертью всё вздыхал и говорил мне: «Лучше бы ты стала фармацевтом!»

– Это который дед – тот самый, лесопромышленник, миллионер?

– Тот самый, который «Яша, ты этого хотел?!»...

– А вот если оглядывая всю жизнь...

– ...это уже не жизнь, это эпоха!

– ...оглядывая знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, вам бы предложили очутиться вновь в каком-то ее периоде. Какой бы выбрали вы?

– Дулёво...

– Потому что – работа, творчество?..

– Потому что – свобода... Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картёжника и гуляки... от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы... Потому что – любили меня там, были там друзья, помощники, приبلудные звери... И какая-то была райская чистота души, рук и глины... Вечная первозданность мира: глина... огонь... новорожденное Творение... Потому что в эти часы и мгновения ты – как Бог...

*пауза*

...как Бог...

*пауза*

...как Господь Бог...

*Иерусалим, август 2005*